

РУСЛАН ХЕСТАНОВ

Восстание сирот

Существует длительная история революционного сопротивления. Но на каждом новом историческом этапе приходится снова вычерчивать стратегическую нить этих сражений. В Восточной Европе мы столкнулись с событиями, которые не имеют ничего общего ни с виновностью, ни с невиновностью, ни с ответственностью, ни с безответственностью. Морально нагруженные суждения о правых и неправых, о силах прогресса или реакции — крайне затруднены, как и в классической греческой трагедии. Оговорка на этот счет мне необходима лишь для того, чтобы предупредить, что термин «империя» будет употребляться без осуждающих коннотаций, а «революция» — без романтических.

Во многом культ политической корректности, почти безраздельное господство которого утвердилось в социальных науках в 90-е годы, сузил политическое воображение настолько, что многие исследователи позволили себе игнорировать даже тот факт, что национальные государства имеют довольно короткую, приблизительно двухсотлетнюю, историю развития, в то время как имперские государственно-политические образования существуют более двух тысяч лет. Современный мир все еще очень далек от гуманистической, космополитической и демократической утопии. Процессы «балканизации», распада имперских или национально-государственных образований в Европе или Африке сопровождаются практически мгновенной реакцией мощных государств, способных мобилизовать ресурсы для внешней имперской политики. Избегая непосредственного администрирования, они стремятся заполнить образовавшийся политический вакуум и оказывать определяющее влияние, на социально-политическую жизнь народов, не имеющих прочных и стабильных государственных учреждений. Различимая в сегодняшнем мире иерархия суверенитетов, клиентские и даже вассальные формы зависимости одних государств от других свидетельствуют о том, что имперские техники власти сохраняют свою актуальность в международной жизни.

Не вдаваясь в существо дискуссий о том, к каким государственно-политическим образованием приложима квалификация империй,

сошлемся на определение «империи», которое было дано в недавнем коллективном исследовании. Имперским политическим образованием они согласились называть крупную и экспансионистскую политико-государственную организацию, которая воспроизводит социальные различия и неравенство. По их мнению, империями можно также называть такие расширяющиеся образования, для которых состояние неравенства и различия является только определенной фазой исторического развития, поскольку объединение в политическое единство разнородного населения в перспективе может приобрести черты социальной и культурной гомогенности, свойственной национальным государствам. Достигнутое единообразие населения может быть результатом насильственной или ненасильственной ассимиляции. В этом смысле, решающим фактором является способ институционализации различий в процессе созидания империи¹. Уточнение, что империя может быть некоторой «фазой» становления, подразумевает не только исторические прецеденты в прошлом, но вполне приложима к такому новому квазигосударственному образованию, как Европейское сообщество.

Парадигма конкуренции: накопление и интеграция

Восточноевропейский опыт недавнего прошлого показал, что так называемые «цветные» революции, могут быть объяснены в контексте сложного процесса имперской перестройки в регионе. Имперская перестройка проявилась в одновременности действия нескольких разнонаправленных тенденций – распада, консолидации и конкуренции. Во-первых, очевидно, что процесс распада советской империи – не завершен. В настоящий момент возникшие на ее периферии новые государственные образования, переживают завершающую фазу разложения, о чем, собственно, свидетельствуют, на мой взгляд, «цветные» революции. Во-вторых, центральная часть бывшей империи, в границах РФ, переживает период нестабильной консолидации, исход которой до сих пор неясен. В-третьих, регион Восточной Европы стал странством межимперской конкуренции. Революции и революционные ситуации возникают не только тогда, когда разваливаются империи и государства, но и тогда, когда создаются новые политические организмы, имеющие имперскую морфологию.

Процесс распада советской периферии далек от завершения по следующим причинам. С одной стороны, формальное обретение суверенитета бывшими союзными республиками привело к воспроизводству ими имперской политики и администрирования на собственных территориях. Можно сказать, что на нынешнем этапе целый ряд новых государств региона переживает постреволюционную ситуацию, которая была

¹ Lessons of Empire: Imperial Histories and American Power // Ed. by Craig Calhoun, Frederick Cooper, Kevin W. Moore. New York, 2006. P. 3.

характерна для имперского ядра на рубеже 80–90-х годов, что проявляется в первую очередь в способах политического руководства и администрирования. Как писал Пьер Бурдьё, «постреволюционные ситуации изобилуют многочисленными примерами патетичных и гротескных несовпадений между габитусами, созданными для других должностей, и должностями, созданными для других габитусов». Подобное постколониальное недоразумение, по словам Бурдьё, было характерно для освободившегося Алжира: новые национальные элиты, занявшие должности в учреждениях (на фирмах, в армии и других институтах как государства, так и бизнеса), фактически превратились в прежних колонистов. Сформировавшийся политический класс продолжил употребление прежних имперских практик администрирования по отношению к собственному населению, как бы осуществляя акт «повторного завоевания».²

Похожие процессы мы наблюдали практически во всех постсоветских государствах. Так, новое руководство Грузии при президенте Звиаде Гамсахурдия фактически инициировало в стране новый, уже локальный цикл распада, когда попыталось создать новую унитарную государственность. Обратим внимание, что именно в этот период, то есть сразу после неудачных военных действий в Абхазии и Южной Осетии, стали появляться доктрины «имперского переключения». Известный грузинский ученый, Гия Нодиа, уже тогда считал, что единственный реалистический способ решения проблем абхазского и осетинского сепаратизма для Грузии — это вхождение в Европейское сообщество. Недавний политический раскол на Украине, которому «оранжевая» революция придала смысл раскола между Востоком и Западом, подтверждает, что перспектива имперского переключения в восточноевропейском регионе возникла не случайно. В регионе появилась новая перспектива или имперская альтернатива, олицетворяемая новым растущим имперским образованием — нынешним Европейским Союзом. Вместе с тем, восстановление государственности и экономической состоятельности России актуализировал также возможность реинтеграции на новых условиях с прежним имперским центром. При этом процесс суверенизации — развития новой национальной государственности — в Грузии или на Украине, в настоящее время рассматривается в качестве третьей возможности лишь политическими маргиналами.

В конце XIX — начале XX века интеллектуалы и политики европейских стран были убеждены, что политический вес и влияние государств определяется в первую очередь их демографической мощью и этнической однородностью. Сегодняшние элиты убеждены, что вопросом выживания становятся проблемы экономического роста, доступности мировых рынков и преодоление экономической изоляции. А потому считается, что выигрышная стратегия подразумевает два фактора: 1) накопление массы капитала, 2) интеграционные усилия, расширяю-

² Пьер Бурдьё. Социология политики. М., 1993. С. 294–295.

щие емкость и коммуникации рынков. Схожесть в понимании стратегии выигрыша лидерами мировой гонки усиливает между ними конкуренцию и укрепляет общий тренд, порождая в разных регионах мира оппозиции из симметричных элементов. Восточная Европа — одна из иллюстраций этого общего движения. Геополитическую борьбу в регионе не стоит рассматривать через призму борьбы между демократией и либерализмом, с одной стороны, и авторитаризмом и тиранией — с другой. Оценка конкуренции с позиций идеологемы демократии и либерализма исходит из иллюзии, согласно которой у конкурирующих сторон имеются разные основания. Согласно нашему истолкованию, у имперской экспансии, в форме которой глобальная конкуренция осуществляется, оснований нет. Скорее всего, гораздо уместней говорить о миметической захваченности конкурирующих сторон, о том, что они придают своим стратегическим целям и объектам одинаково высокую ценность. Можно сделать предположение, что в будущем, по мере усиления конкуренции в восточноевропейском регионе, мы еще столкнемся с эффектом исчезновения «моральных» различий между противостоящими сторонами, между «чистым» и «нечистым» насилием, между имперской и демократической интеграцией.

По большому счету, с эффектом постепенного стирания «моральных» различий мы столкнулись сразу после распада дихотомичного режима холодной войны, который ознаменовал глобальный кризис различий, когда не осталось места для отличия империй «добра» и империй «зла». Трудность с определением характера перемен связана с глобальной утратой идеологических идентичностей, со стиранием дифференциальных интервалов, усиливающих провал в безумство соперничества. Не различия между авторитарными и демократическими политическими режимами, а именно неуклонное стирание этих различий, обостряет межимперскую борьбу.³

Политика России в Восточной Европе довольно легко идентифицируется как имперская, поскольку она архаична. Набор инструментов довольно скуден: экономический шантаж, пропаганда советской ностальгии или славянского братства, за которым скрывается довольно пещерный национализм и эгоистические интересы. Гораздо труднее в полной мере оценить новизну и оригинальность нового западного имперского проекта — европеизации. Можно вспомнить различие, которое когда-то сделал Жорж Батай между империями пирамидальными, каковыми были все известные исторические империи, и империя-

³ Не только война на Балканах, агрессия США против Ирака или недавняя война между Израилем и Ливаном, но и закамуфлированная попытка Европейского союза «демократизировать» Конго, а также множество других примеров имперского вмешательства, способствуют стиранию четких и простых отличий между оправданной и неоправданной интервенцией. Даже дискуссия о двойных стандартах становится неактуальной, поскольку невозможной оказывается сама рефлексия на эти основания.

ми будущего — империями-лабиринтами. Так вот Европейское сообщество более всего приближается к батаевскому образу империи-лабиринта как в смысле своей загадочности, так и в смысле отсутствия ярко выраженной властной вертикали — своего рода ацефал, как выразился бы Батай. Загадочность новой империи состоит в причудливости сочетания архаичных и совершенно новых практик экспансии. Однако есть и другое отличие, выгодно оттеняющее европейский имперский проект: федеративная и демократическая конституция Европейского сообщества является определенной гарантией того, что интересы местных элит, еще не интегрированных государственно-политических образований, будут учтены. Джон Айкенбери считает, что демократии гораздо эффективней в организации систем имперской гегемонии, поскольку они проявляют большую готовность к компромиссным соглашениям с местными элитами, что служит залогом кооперации и взаимности выгод.⁴ В этом же контексте обычно говорят о емкости европейского рынка, однако этот рынок столь хорошо структурирован и сбалансирован с точки зрения уже присутствующих игроков, что новым элитам будет крайне сложно найти свою нишу.

Но новизна европеизации сказывается также в том, каким образом и какого рода ресурсы мобилизует ЕС в целях экспансии на восток — это не военные или административные, но скорее символические ресурсы. Достаточно сказать, что доля бюджета ЕС в совокупном ВВП составляет чуть более одного процента. Для создания национальных государств в XV–XVI вв. требовалась гораздо более значительная концентрация экономических и административных ресурсов в политических центрах. Если образование национального государства требовало распространения традиционного муниципального устройства на более обширную территорию,⁵ то в ЕС мы не наблюдаем аналогичного процесса распространения национально-государственного управления на территорию общеевропейскую. Европейский центр в очень малой степени осуществляет функции перераспределения ресурсов. Кроме того, для осуществления активной внешней политики Брюсселю также пока недостаточно активности МИДов отдельных стран-членов. Тем не менее процесс добровольного ассоциирования с новым имперским образованием происходил до сих пор довольно быстро и эффективно.

Но процесс европеизации как имперской экспансии, с другой стороны, интересен также и своим архаичным образом действия. Имперская экспансия предполагает детально разработанную еще римлянами социальную политику по отношению к интегрируемым в империю приграничным территориям. Естественно, что речь пойдет о Риме,

⁴ Ikenberry J. G. *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton University Press, 2001. Ch. 7–8.

⁵ Полаanyi К. *Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени*. СПб., 2002. С. 79.

но подразумеваться будет вполне очевидная аналогия с процессом европеизации.

Завоевание и последующая интеграция в империю Галлии требовала от римлян дифференцированного подхода, который бы отличал внутри Галлии силы поддержки и сопротивления. Римлянам нужно было не просто завоевать Галлию, они хотели в процессе завоевания уничтожить, а затем и перестроить местную систему господства. Единственной силой, способной организовать эффективное сопротивление Риму, была галльская военная аристократия. Римляне действовали довольно изощренно, играя на социальных и политических противоречиях: стремясь унижить галльскую аристократию, они одновременно подчеркивали правомерность претензий на равенство прав подчиненных классов и слоев. Они убедили широкие массы в том, что даровать и гарантировать им права и свободы сможет только римское цивилизованное правление. Главным средством установления римского имперского господства стала, таким образом, политика эгалитаризации. Параллельно систематическому искоренению и физическому устранению галльской аристократии, империя пыталась создать новую, преданную им знать. Но эта знать должна была быть уже не военной, а сугубо административной или фискальной, работающей по правилам и нормам имперской бюрократической рациональности, собирающей налоги для имперского центра. Определяющими признаками новой знати было двуязычие и прекрасное знание юридических практик империи.⁶

Но проблема имперской власти и экспансии — это рациональный расход военных, материальных и организационных ресурсов. Рационализация внешней политики экспансии требовала классификации внешних угроз и дифференцированного отношения к внешнему миру. Рим, в частности, проводил очень четкое различие между варваром и дикарем, то есть между плохими и хорошими пограничными народами. С одной стороны, империя благосклонно относилась к присутствовавшему на границах пусть дикарскому, но маленькому, союзному и «полезному» населению, с другой стороны, она вела враждебную войну с населением варварским, которое понималось как чуждое и внешнее римской цивилизованности. Варвар — это тот, который назойливо атакует границы государства, от присутствия которого следует избавиться. Единственно возможное отношение к варвару со стороны империи — это война. С ним невозможна, например, честная торговля. Варвар — воплощение угрозы завоевания, захвата и грабежа.⁷

Естественно, что определяющим критерием для этой дифференцирующей политики империи являлись не «объективные» свойства приграничных народов, не их культурная или ментальная близость, как ска-

⁶ Фуко М. Нужно защищать общество. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб, 2005. С. 160.

⁷ Там же. С. 209–222.

зали бы сегодня, но в первую очередь их демографическая масса и степень консолидированности, которые были подлинным выражением потенциальности угрозы.

Таким образом, на границе империй образуется напряженность между несколькими полюсами: между империей и варварами, между империей и силами «реакции» в среде дикарских народов (интегрированных или стоящих на очереди к интеграции), между варварскими и дикарскими народами. Граница империи — это не четко очерченная разделительная линия — или формальная граница — но сложная система отношений или обширная зона мутаций, направленность которых далеко не всегда определена.

Для описания сложности имперской границы, или зоны революционных мутаций, нам потребуется выявление интегрирующей матрицы, присущей ЕС. В этой матрице можно выделить два определяющих процесса: 1) интеграция на периферии ЕС, то есть на внутренней границе сообщества; 2) интеграция на внешней границе.

Интеграция через дискредитацию государственности

Как свидетельствует Иван Селеньи, процесс рыночной модернизации в странах бывшего советского блока, которые принято сегодня называть центральноевропейскими, прошел путем приватизации «извне» — капитализм был построен без капиталистов.⁸ Поскольку интеллигенция в этих странах не позволила бывшему номенклатурному классу превратиться в номенклатурную буржуазию, как в России, постольку основные активы были приобретены зарубежным капиталом, а за местными национальными элитами — бывшей номенклатурой — остались функции управления этим капиталом. В странах Центральной Европы, таким образом, практически не осталось значительных национальных активов, поскольку местная промышленность и финансы контролируются капиталом стран европейского ядра.

На это обстоятельство важно обратить внимание, поскольку неформальным условием интеграции в ЕС новых стран является перераспределение национальных активов в пользу крупных групп капитала стран «ядра». Сегодня распространена точка зрения, что национальное происхождение капитала не играет решающей роли во внутренней политике отдельных стран. Эту же точку зрения отстаивает и Селеньи, кото-

⁸ См. на сайте Института общественного проектирования лекцию Ивана Селеньи от 14 марта 2006 г. «Строительство капитализма без капиталистов — три пути перехода от социализма к капитализма» [<http://www.inop.ru/reading/page34/>] А также коллективную монографию Gil Eyal, Iván Szélenyi, and Eleanor Townsley. *Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe*. London, 1998.

рый считает, что национальный капитал важен только в одном смысле — в процессе строительства национальных демократических институтов. Однако этот тезис можно было бы считать верным, если исходить из автономности национального капитала от национальных правительств. Однако именно опыт «европеизации» и интеграции в ЕС стран Центральной Европы отчетливо демонстрирует, что европейский капитал все еще дифференцируется по своему национальному происхождению, поскольку его рыночная стратегия координируется с интересами национально-государственных институтов.

На сегодняшний день есть две ключевые программы, которые должен был реализовать ЕС. Первая — создание общего рынка услуг, которая забуксовала полтора-два года назад. Вторая — либерализация энергетического рынка. Вопреки теоретическим предположениям либеральная модель энергетического рынка не дала толчка к развитию общеевропейских энергетических гигантов, но стимулировала конкуренцию национальных капиталов за энергетические активы. Консолидация энергетических рынков фактически происходит на национальных площадках, а не на общеевропейской сцене.

Обострившаяся глобальная конкуренция за энергетические ресурсы быстро вывела энергетику на уровень стратегической отрасли для всех государств — членов ЕС. Поэтому ранее одобренная концепция либерализации рынка натолкнулась на нежелание отдельных правительств отказаться от контроля энергетики. Напротив, можно сказать, что государственное прикрытие деятельности энергетических гигантов стало открытым и более эффективным. Гипотетически, серия слияний и приобретений в энергетическом секторе могла пойти по пути создания крупных общеевропейских кампаний. Однако необходимые для решения проблем энергодефицита капиталы были мобилизованы только в пределах национальных экономик. Брюссельская бюрократия религиозно верила в стихийную «рациональность» рынков: приватизация и уничтожение государственных монополистов должна была автоматически привести к единому и однородному рынку. Европейская Комиссия совсем не думала о необходимости создания единой энергетической платформы. Ее также мало интересовал тот факт, что электрические сети остаются по-прежнему национально замкнутыми.

Рынок стал действовать в соответствии с той «логикой», которая была возможна при существующей инфраструктуре и параметрах приватизации, а именно с логикой националистической. В результате на энергетическом рынке Европы создались все условия для образования олигополии, то есть монополии нескольких продавцов, капиталы которых имеют не общеевропейское, а национальное происхождение и государственное прикрытие. Теперь на энергетическом рынке ЕС будут господствовать немцы, французы, итальянцы, отчасти испанцы.

Многие европейцы уже сегодня понимают, что ставку нужно было делать не на голую рыночную конкуренцию, а на волевое политиче-

ское вмешательство в пагубную национальную организацию рынков, что необходим был именно брюссельский «дирижизм». В некотором смысле энергетический рынок является модельным, поскольку помогает понять то, как функционирует интеграционная матрица ЕС. Ведь на так называемых нестратегических рынках (телефония, недвижимость и пр.) уже произошла реструктуризация по такой же дефективной «националистической» схеме, ведущей эти рынки к образованию олигополий, к господству капиталов наиболее развитых стран, стран так называемого ядра. Поэтому те националистические трения, которые характерны для энергетики, непременно проявят себя и в целом ряде других отраслей хозяйства. По мере усиления конкуренции за энергетические ресурсы, ощущение, что создание единого рынка происходит лишь в интересах наиболее развитых стран, будет усиливаться. В восточноевропейских странах уже сегодня формируются националистические протестные движения, политические партийные платформы евроскептиков, отличающиеся радикализмом, характерным для экономической периферии.

Можно ли назвать путь интеграции восточноевропейских государств по модели «капитализма без (национальных) капиталистов» успешным? Пожалуй, вряд ли, если учесть их нынешнюю неспособность мобилизовать ресурсы для решения проблемы энергетической безопасности. Ввиду иностранного происхождения работающего в их странах капитала, они сегодня практически не в состоянии найти ресурсы для любой крупной общенациональной программы. Они столь же неспособны самостоятельно осуществить ни одной серьезной социальной реформы (в области образования, пенсионного обеспечения и пр.), а поэтому вынуждены уповать только на общеевропейские проекты. Суверенные возможности их оказались крайне ограниченными, а интеграция в ЕС, основанная на перераспределении национальных активов, усилила их уязвимость перед лицом возможных кризисов.

Демократии, таким образом, способны к довольно дешевой имперской экспансии и не нуждаются в мобилизации дорогостоящих военных, политических и административных ресурсов. Но именно ставка на «дешевые» практики интеграции может привести к весьма плачевным результатам. На начальных этапах легко добиться встречного движения от местных элит, но значительно труднее осуществлять реальное правление на интегрированных территориях, в условиях неудовлетворенности неравенством возможностей местного населения по сравнению с возможностями населения стран имперского ядра. Наконец, а может быть, в первую очередь, амбиции местных элит — величина непостоянная: требования пересмотра прежнего компромисса, доступа к капитальным ресурсам и рынкам будут все более настойчивыми. Ведь если элиты лишены экономических возможностей влияния, они не смогут успешно выполнять функции гарантов процветания и безопасности.

Сиротская культура и орфанные государства

На внешней стороне границы ЕС в полной мере можно оценить работу архаичной имперской политики, различающей варваров и дикарей. На современном научном сленге, сильно идеологизированном, это различие часто обозначается как отличие между государствами с демократическими режимами и режимами (нео) патримониальными. «Социология сторонится любых концепций, согласно которым социальное существование собирает индивидов в единое целое на основе договора» — около столетия назад предупредил Жорж Батай.⁹ Но именно на основе этих концепций базируются сегодняшние политические и социальные доктрины. Для них характерны своего рода манихейские альтернативы между плохим и хорошим: авторитарным и демократическим, патримониальным и рациональным. В качестве своего теоретического источника перечисленные оппозиции восходят к Макс Веберу, часто интерпретировавшему социальную жизнь как природную стихию, а усилия государственной бюрократии как рационализацию и совершенствование этой природы.

Довольно загадочным кажется тот факт, что отношение к революционным процессам в Восточной Европе со стороны левых и правых политиков и интеллектуалов на Западе в основном совпали, пусть даже на короткое время. Они с одинаковым энтузиазмом приветствовали «революционный» характер перемен, хотя для правых политиков растачать восторги перед революциями — довольно экзотично. В один голос они приветствовали продвижение так называемой демократизации. Сегодняшние левые отошли от якобинского антагонистического мировосприятия и приняли социал-демократический миф о нейтральности политического поля, а вместе с ним и миф о демократизации, безразличному к социальным различиям. В науке этот теоретический консенсус между правыми и левыми выразился, в частности, в интенсивной критике реакционных режимов на постсоветском пространстве с помощью концепта «патримониализм».

Веберовское различие между патримониальным и рационалистическим государством вполне понятно, если принять во внимание сколь большую роль в его творчестве играл импульс идей Просвещения. Именно в духе Просвещения он пытался предельно очистить национальную политику от произвола и случайности человеческих пристрастий, а для этого он говорил о тенденции к рационализации, которая у него фактически совпала с процессом бюрократизации. В отличие от Вебера, сегодняшние доктрины связывают процесс рационализации с демократизацией.

Мишель Крозье, исследуя феномен бюрократии,¹⁰ показал наличие

⁹ Коллеж социологии: 1927–1939. СПб., 2004. С. 34–35.

¹⁰ Crozier M. Le Phénomène bureaucratique. Paris, 1963.

четкой связи между уровнем прозрачности и иерархией власти. По его мнению, внутри любой организованной коллективной общности руководящие позиции занимают те группы или кланы, которые способны сделать свое положение непрозрачным, а действия недоступными для понимания посторонних. При этом они должны добиться, чтобы поведение других, подчиненных секторов было константным, регулярным, предсказуемым. В развитых странах были организованы рациональные государственные аппараты. Однако именно в тех самых точках высшей пирамиды власти, которые имеют монополию на конвертацию капитала политического в экономический и символический, мы наблюдаем высокую концентрацию «нерационализируемого остатка». В этих стратегических локусах власти чрезвычайно велика роль неформальных сетевых связей и понимание роли солидарности и крепкой клановой «дружбы». У самого основания пирамиды демократических сообществ мы наблюдаем дисциплину в виде господства формального права, в то время как на вершине мы наблюдаем совсем другого рода дисциплину — здесь отношения регулируются в большей мере этосом. Именно там, где сконцентрировано богатство и политическая власть, там, где элита легко может конвертировать экономический капитал в политический или символический, именно там мы встречаемся с более прочными и развитыми патримониальными, патриархальными семейными и клановыми стратегиями. Наличие патримониальных и клановых стратегий, характерно в одинаковой мере для политических культур как западноевропейских, так и восточноевропейских стран, хотя они по-разному инкорпорированы в политические конструкции.

Однако популярность критики патримониальных отношений хорошо вписывается в общую неолиберальную стратегию дискредитации государственности вообще, а, в узком смысле, в стратегию дискредитации некоторых государств, в том числе государств Восточной Европы. Такая критика служит интересу подчинения местных элит дисциплине формального права, чтобы добиться от их действий управляемости, константности и предсказуемости.

Массовый революционный энтузиазм в Восточной Европе рубежа 80–90-х годов вдохновил некоторых интеллектуалов на работы, посвященные «концу истории». Критический и разрушительный пафос «цветных» революций, который носил сугубо «столичный» и «непосредственный» характер на Украине и в Грузии, был направлен против ближайших инстанций власти. Революционеры не искали и не выделяли врага №1, как это сделал, например, в своей фетве Бен Ладен (различивший *ближнего* и *дальнего* врага), но выступили против врага непосредственного. Враг был локализован в непосредственной близости. Бедность политического воображения проявилась также в миметическом поиске «решений» — в честности власти, выборов, в соблюдении демократических процедур. Наивность надежд революционеров проявилась в том, что они опирались на локализованные образцы за пределами собственных

национальных территорий. Они были связаны с пересмотром некоторых основополагающих принципов суверенитета и с воссоединением с другими, вненациональными воображаемыми сообществами — универсально гуманистического типа, то есть европейского. Европейский универсализм обеспечил ту легкость, с какой были восприняты доктрины имперского переключения и готовность некоторых постсоветских государств передать не только национальные активы, но и целый ряд функций суверенной государственности другой имперской инстанции.

Революционные движения в Центральной и Восточной Европе трудно назвать вполне националистическими или национально-освободительными. Их можно охарактеризовать как направленные против патримониалистских режимов только в ограниченном смысле — лишь постольку, поскольку они стали проявлениями «сиротского сознания». Когда национальные государства переживали пик своего расцвета, дискурс патримониализма (семьи, родства, крови, почвы), несмотря на свою фиктивность, был нормативным. Патримониальные и патриархальные метафоры были и остаются той образной материей, из которой сотканы национальные воображаемые сообщества.

Стратегия дискредитации государственного патронажа проявилась в известном комплексе требований: во-первых, в требовании создания «свободного и открытого рынка» через приватизацию и создание финансовых институтов по международным стандартам, во-вторых, «минимального государства», в-третьих, «добросовестного правления» («good governance») и формальной демократии, в-четвертых, в уменьшении финансирования социальных программ. Там где эта программа дискредитации государственности дальше всего продвинулась, мы обнаруживаем, с одной стороны, развитую политическую культуру «сиротского сознания» и клиентелистский национализм местных элит — с другой. Сиротская политическая культура создала соответствующие политические режимы, которые уместно было бы назвать, развивая метафору патримониализма, «орфанными».

Модное сегодня клише о нестабильности авторитарных режимов и стабильности режимов демократических вряд ли можно считать правдоподобным. Главный источник нестабильности в Восточной Европе — оспариваемое межимперское пространство, для которого характерно существование орфанных политических режимов. Современная глобальная конкуренция и новая парадигма экономического роста, требующие от суверенных стран интеграции в крупные хозяйственные сети и политические образования, производит не только новые имперские объединения, но превращает государства малой массы в орфанные¹¹. Орфан-

¹¹ Для последних характерна не только готовность поделиться своими суверенными функциями с другими имперскими центрами, но и тенденция к понижению доли государственных расходов в ВВП: для многих из постсоветских государств нор-

ное государство — это реальность существования многих постсоветских государств — существование, которое предшествует их европейской, славянской, евразийской или восточной сущности.

Раскол элит на модернизационное (западническое) крыло и традиционалистское, характерный для Центральной и Восточной Европы в недавнем прошлом, уже не актуален. Модернизаторы еще недавно были настроены на воспроизводство в пределах своих национальных территорий зарубежных моделей успешного и устойчивого роста. Ныне же они решают совершенно другие задачи. На первый план выдвигается задача интеграции с развитыми капиталистическими центрами. Раньше этого импульса к интеграции практически не существовало. Нынешнее поколение модернизаторов в большей мере связывают будущее именно с рыночной интеграцией, интернационализацией финансов и с дальней торговлей. В таких условиях, характерный для прошлого раскол элит будет проходить не вдоль властной вертикали, но по горизонтали, то есть по разломам между социальными мирами, регионами, этносами. Революционная перестройка поэтому будет представлять иной тип угрозы, которая уже кое-где реализована — территориальное дробление, процесс «балканизации», подразумевающую возможность последующего переключения на имперские центры.

мой стала цифра в 30–40 %. В классических (скандинавских) странах она иногда достигала 70 %.